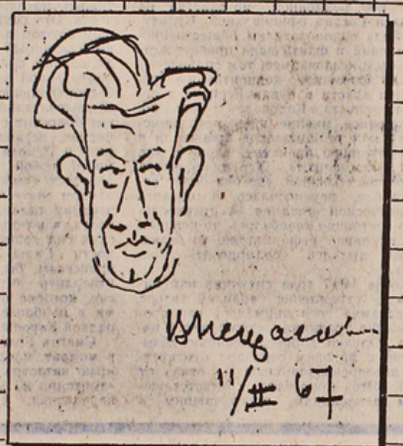
Автограф... для истории



К 80-летию со дня рождения писателя

Виктор Некрасов о своей партийности: когда, почему и как?..

История этой публикации повторяет ту, что была в «Литературной газете», № 4 за прошлый год. Тогда мы напечатали статью Виктора Некрасова «Кому это нужно?». Прислал ее в редакцию читатель-москвич в качестве отклика на опубликованные в «ЛГ» 18 октября 1989 года воспоминания нашего киевского собкора Григория Кипниса-Григорьева «И только правду...». В своем письме читатель рассказал, что записал статью на пленку во время передачи одной из зарубежных радиостанций в 70-х годах. В письме он еще заметил: «Это память о бесконечно уважаемом мною писателе и человеке, которую я храню по сей день, хотя лично его не знал».

И вот недавно мы получили от того же читателя расшифровку еще одного некрасовского выступления тех лет по радиостанции «Немецкая волна» (этот человек, инженер М. Эстрин, заместитель начальника одной из московских железнодорожных станций — Андроновка, как выяснилось, записывал, и не без риска для своего благополучия, передачи разных «голосов», которые так или иначе были связаны с именем его любимого писателя).

В публикуемом ниже фрагменте Виктор Некрасов вспоминает о том, при каких обстоятельствах, когда, почему и как он вступил в КПСС. Высказав свои весьма критические, разумеется, соображения о Компартии сталинских, хрущевских и брежневских времен, писатель не без доли самоиронии продолжает:

— ...И тут же слышу вопрос: «Но ты-то, ты, очевидно, все это знавший и раньше, тебе было 32 года, — как ты мог вступить в эту самую?..»

Я этого уже касался, могу развить. Я никогда не был политиком. До войны были свои увлечения. Архитектура — мечтал получить первую премию на каком-нибудь всесоюзном конкурсе. Театр — сыграть Хлестакова, о котором Станиславский сказал, после того как я показал ему отрывок из «Ревизора»: «Да, конечно, вы с вашим Хлестаковым можете выступить в любом театре». А потом расчехвостил, но за эту первую фразу я крепко уцепился на всю мою недолгую актерскую жизнь. Днепр — мы были не худшими гребцами и ловцами киевского пляжа тех лет. Всякие военно-осетинские и военно-сухумские дороги с рюкзаками на спине. Ну и, само собой разумеется, сидение в обнимку в кустах на днепровских откосах.

А жизнь страны шла своим чередом. Трудноперевариваемая смесь съездов, челюскинцев, арестов, перелетов через Северный полюс, процессов, «Юности Максима», войны в Испании, утесовской «И тот, кто с песней по жизни шагает...», папанинцев, очередей за маслом, советского павильона на Парижской выставке с мухинской всех тогда покорившей скульптурой... Хасанские события и в общем выигранная война, мои переживания с Вронским, которого я воплощал на клубных сценах Немирова и Гайворона, хлебные карточки, восхождение на Эльбрус с другом моей юности Лакштановым (а через без малого сорок лет выяснилось, что нам и говорить-то не о чем). Гитлер и все сопряженное с ним, позорная финская кампания. Бог ты мой, третий месяц топчемся на одном месте. В городе половина школ превращена в госпитали. Это было в Вятке (в тогдашнем Кирове). И, наконец, война.

Первую зиму я провел командиром взвода запасного саперного батальона в крохотной деревушке Лячута на берегу Волги севернее Сталинграда. Туда мы пришли пешком из-под Ростова и остались на всю зиму. Учили солдат тому, чего сами не знали. Настоящий тол и взрыватель я впервые увидел уже в Сталинграде через год. На весь батальон — а в нем было около тысячи человек — была одна боевая винтовка. На стрельбах за всю зиму каждому бойцу полагалось по одному патрону. Окопы — предмет этот назывался «Укрепление и фортификация» — в насквозь промерзшем грунте копали деревенскими лопатами. Из восьми учебных часов четыре, а то и шесть полагалось проводить на воздухе. Взвод в наступлении, в разведке, в охранении, эти самые фортификации... Морозы были 40 градусов, а так как белья у солдат не было, я брал у хозяйки газеты (она была почтальоном), и бойцы заворачивали свои чресла. К весне весь рядовой состав был отправлен на Крымский полуостров и, как по секрету сообщил мне адъютант, там весь полег костьми. Мы же, офицеры, были отправлены в части полковыми инженерами. Все виды мин и других заграждений я видел только на картинках.

В апреле 1942 года наш полк выступил из станицы Серафимович, где формировался, на фронт. Мы продефилировали по главной улице с развернутыми знаменами. Направо и налево от знаменосца шагали два так называемых ассистента с учебными (дырки в стволах) винтовками на плечах. Дальше — с места песню! — весь полк строевым шагом (хотите верьте, хотите нет) с палками вместо винтовок. Вот так! С палками на плечах! Встречные бабы ревели: «И вот так вы на немца с палками?» А полковая артиллерия — бревна на колесах от подвод, которые тащили четыре полковые клячи. Кто мог это придумать? Один Аллах ведает. Оружие, настоящее оружие (офицеры — пистолеты ТТ тоже первый раз в жизни, бойцы — винтовки образца 1891 года) получили за неделю до начала боевых действий под Терновом возле Харькова. Учебных стрельб, само собой, не было. Собрать и разобрать винтовку могли только командиры рот из кадровых, попавшие к нам из госпиталей. Так началось знаменитое тимошенковское наступление на Харьков в мае 1942 года. Чем оно кончилось — известно. Чем кончился Сталинград — тоже известно.

И вот это-то: от палок до 330 тысяч пленных паулюсовской армии — очень на всех подействовало, внушило веру, ту самую, о которой я уже писал. Кроме веры, было еще нечто. Я был в полку единственным беспартийным офицером, белой вороной. «Ну что же, капитан, — в Сталинграде я стал капитаном, — всю картину нам портишь. Самый интеллигентный, с высшим образованием. Пора, пора!» — говорит замполит. А командир полка — мягкий, добрый, замучивший нас в Сталинграде своими КП (тут холодно, тут слишком высовывается, тут перекрыли плохо) — иронизировал еще: «А может, ты просто меньшевик? А? Признайся». Мой друг Фищенко, он же Чумак из «Окопов Сталинграда», поддавал: «Да он просто фашист. Вчера в землянке, видел я, марки с Гитлером в альбом наклеивал. Он у нас — как это? — фашист, что ли». Я действительно нашел в немецком блиндаже альбом с марками и по вечерам над ним возился. Вот так это и случилось. Изменилось ли что-нибудь в моей армейской жизни? Да ничего. Платил только взносы. Ни одного партийного собрания в полку что-то не припомню. Потом ранили. В саперном батальоне, куда я попал после госпиталя, тоже не припомню. Первое, на которое я попал, было то, где меня избрали секретарем парторганизации, в редакции газеты «Радянське мистецтво» («Советское искусство»). Организация наша была маленькая, дружная, год был такой веселый — победа! Никто никому, как в Киеве говорят, «не морочил плечи». Весь этот год я писал свою первую книжку. На следующий она вышла. И вот тут-то произошло первое столкновение, без всяких последствий, но оставившее свой первый след.

В том самом журнале «Знамя», где напечатаны были «В окопах Сталинграда», в 10-м номере, как раз перед самой повестью опубликовано было страшное, до сих пор не дезавуированное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это был первый удар по литературе, первая, так сказать, ласточка. Естественно, из райкома поступило указание провести собрание на эту тему. Я горжусь этим собранием. Нет, не потому, что я встал и сказал: «Товарищи, мы присутствуем при начале того, что, казалось, никогда уже не может повториться, при начале гибели литературы». Нет, я этого не сказал. Таких смельчаков-камикадзе в нашей стране мало, и я им не оказался.

Но я выкрутился. «Товарищи, — сказал я, — все вы читали последнее постановление ЦК партии, вы — грамотные, начитанные, и думаю, что объяснять «что и как» нет никакого смысла. Примем к сведению и к руководству. Если есть другое предложение, прошу!..» Коллектив наш был маленький, дружный, других предложений не было, и мы разошлись. Все собрание длилось (Володя Мельник засек) около двух минут. Было еще одно — по подписке на заем, — оно длилось 45 секунд, хронометрировал все тот же Володя Мельник. Эти два собрания я отношу в свой актив. В дальнейшей моей биографии таких затыканий амбразур собственным телом (кругом, правда, были только друзья, инструктора райкома почему-то не было) больше не встречалось, мой героизм воздержался и дальше неприсутствия не шел. Я говорю об этом вроде бы шутливо, но все это не шутки. Бесконечное количество партсобраний, на которых мне за 30 лет пришлось присутствовать (кругом же не друзья — Союз писателей!), кроме всякой чепухи — отчетов и перевыборов, — были посвящены уничтожению, топтанию, разоблачению; выведению на чистую воду, признанию своих ошибок, обещанию никогда больше «ни в чем и ни с кем», и сопровождалось гневными, часто от души, выкриками «позор!», «ганьба!».

В американской компартии (я понял, прочитав Фаста) происходило нечто подобное. Тоже клеймили, тоже обвиняли, тоже заставляли публично признавать свои ошибки. Но там не было (так пишет Фаст) одного: не было ни тюрьмы, ни смерти. А у нас была и тюрьма, и смерть, и полное забвение. Ответил я на вопрос о том, зачем я как вступил в партию? Вроде бы и ответил.

А вот как бы я оценил эти 30 лет. Зощенко и Ахматова, космополиты, врачи-убийцы, потом волох обличения — смерть Сталина, XX съезд, оттепель — и опять Польша, Венгрия, Чехословакия. — А у тебя в кармане партийный билет, и у 16 миллионов такой же партийный билет...

Кто бывал в квартире Виктора Некрасова на Крещатике, в знаменитом киевском «пассаже», метко названном однажды Осипом Мандельштамом «домом-улицей», тот сразу узнает этот интерьер. Ну, конечно же, это его кабинет и спальня, та несуразная, вытянутая поперек задняя комнатка, которая казалась неправдоподобно узкой, когда входили в нее из огромной по нынешним представлениям столовой. Слева у окна, выходящего во двор, стоял набольшой старинной работы письменный стол, небрежно заваленный уймой всяких интереснейших, по его любимому выражению, штучек-дрючек. На столе — фотографии под стеклом, рядом — полочки и этажерки с преизбыточнейшими книжками и иллюстрированными журналами, а прямо против входной двери — тахта, на которой он сейчас сидит.

В верхнем углу знаменитый портрет Хемингуэя. В наше время эта фотография широко известна, а в те послевоенные годы, годы повального увлечения «стариком Хемом», когда Виктор Платонович привез из Москвы фотографию, она считалась уникальной. Он собственноручно сделал пять или шесть отпечатков такого же крупного формата и подарил каждому из нас...

И почти на всю стену над тахтой — карта. Это разговор особый. Некрасов был великим путешественником, во всяком случае, всегда мечтал им стать. Кое-что в этом плане судьба подарила ему сразу; ну, скажем, то, что в раннем детстве он успел побывать, вернее, пожить несколько лет в Швейцарии и во Франции. Как говорится, не каждому дано. Казалось бы, профессия архитектора, которую он приобрел до войны, как бы сама по себе предопределяла сугубо оседлый образ жизни. Но в том-то и дело, что почти одновременно он закончил и драматическую студию в Киеве — не для того ли, чтобы обрести ее бродячую по своей сущности судьбу актера? Быть может, я преувеличиваю его ненасытную охоту к перемене мест, но посудите сами: оставив архитектуру, он тут же отправляется во Владивосток (не ближе!) и становится актером и художником театра Тихоокеанского Флота. Вскоре переезжает с Дальнего Востока на север — работает актером областного драматического театра в Кирове (бывшей Вятке). Оттуда — на юг, в Ростов-на-Дону, чтобы поступить актером в труппу местного театра Красной Армии. И на всю эту бурную театральную кутерьму уходит три года, с 1938-го по лето 1941-го.

Война — это вообще сплошное передвижение с места на место. Да еще под обстрелом. На войне Некрасов, отступая, пешком дошел до Сталинграда, а затем в обратном направлении аж до Люблина, теперь уже, слава Богу, наступая, но тем же «пахом», как говорили солдаты. Тут, в Польше, тяжелое ранение приостановило на время его «стремительное продвижение вперед на Запад», однако ему все же удалось после госпиталя побывать в Австрии, Чехословакии и Германии. Мирные годы — беспрерывные поездки по стране от Ленинграда до Армении и от Прибалтики до Камчатки. А там — поездки во Францию, Италию, Соединенные Штаты, знаменитые тем, что принесли нам, читателям, великолепные путевые эссе-заметки, в ему, автору, — одни неприятности и огорчения, нападки и гонения, глупое прозвище «турист с тросточкой».

И только оказавшись «там» — за пределами Родины, он получил возможность и право удовлетворить наконец вдоволь свою страсть к путешествиям, за несколько лет объездив едва ли не весь земной шар. Но и здесь, как мне кажется, не было полного удовлетворения и стопроцентной радости, ибо — помню по Киеву — он любил не только уезжать, но и возвращаться. Увы, из тех путешествий он уже в Киев не возвращался. А как он любил его! Дневной, вечерний, ночной Киев. Может быть, только утренний был ему мало знаком — по старой актерской привычке он не любил вставать рано...

Та карта, что висит за его спиной, предназначалась для путешествий воображаемых, а если точнее — для мысленных прогулок по Парижу (он об этом не раз писал). Как странно переплелись в его судьбе эти два города. В начале века, родившись в Киеве, сразу же очутиться в Париже. В конце века мечтать о том, чтобы еще хоть разок побывать в родном Киеве, — и так неожиданно умереть в Париже...

А сюжет предлагаемого фототриптиха таков. В 1967 году к Виктору Платоновичу пришел известный киевский фотокорреспондент из РАТАУ (так называлось Телеграфное агентство Украины) Юзеф Мосенжник с редакционным заданием сфотографировать писателя. В те годы украинские газеты и журналы, как, впрочем, и большинство союзных, не баловали его, рассказы и очерки не публиковали, фотографий соответственно не печатали, в данном случае был, по всей видимости, заказ для фотолетописи — все-таки лауреат... Виктор Платонович не сразу, но согласился позировать. Вскоре ему это наскучило, и после нескольких снимков в пиджаке и без он сказал:

— Конец! Больше сидеть без дела не могу. Если будете меня щелкать, я вас буду рисовать.

Взял свою любимую дощечку и стал рисовать фотокорреспондента — он ведь был неплохим художником, любил иллюстрировать свои книжки. Присмотритесь к слегка ироничному выражению лица Некрасова, еле сдерживающего улыбку: он явно доволен своим наброском. Получился и в самом деле симпатичный дружеский шарж. И полное сходство с оригиналом — это я свидетельствую как человек, хорошо знающий Мосенжника еще с довоенных школьных лет.

— Теперь мы квиты, — сказал Виктор Платонович.

С удовольствием расписался на своем рисунке и поставил дату.

— Для истории, — заметил он в шутку, не предполагая, что и в этой, как и в каждой шутке, окажется доля правды...

Григорий КИПНИС-ГРИГОРЬЕВ

КИЕВ